



РОССИЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

**Историко-
Библиографические
Исследования**

СБОРНИК
НАУЧНЫХ
ТРУДОВ

Вып. 7

Л. М. Равич

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КЛИО В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ *

«— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!»

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита

В конце 60-х годов прошлого столетия утихла война революционных демократов с теми, кого тогда называли библиографами. Это были — в основном — библиофилы, не только собиравшие, но и пристально изучавшие русскую книжность и письменность. Это был чисто русский феномен, этот тип собирателя-исследователя, поражающий европейских библиофилов, в частности знаменитого Керара (1). Эти люди своими разысканиями и публикациями заложили фундамент научной истории литературы и текстологии (последняя вообще зародилась в лоне «библиографии»). Они же были авторами библиографических указателей и библиографических словарей, многие из которых не утратили научно-справочного значения и по сей день. Казалось бы, подобная деятельность ничего, кроме одобрения (не исключаяющего, конечно, и критики недостатков), не должна была вызвать у журналистов того времени. Чего они могли «не поделить»? Каковы могли быть причины той упорной неприязни, которую вызывало у революционных демократов само слово «библиограф»? В чем был смысл этого противостояния?

* Статья известного исследователя истории библиографии Л. М. Равич, написанная в полемическом стиле, побуждает к новым поискам в изучении истории библиографии XIX столетия.

«*Drôle de guerre*» — «странная война» — вот что приходит в голову при ознакомлении с материалами этого сражения. Война велась исключительно одной стороной — революционно-демократической. Ни на один выпад библиографы публично не отреагировали. Лишь раз Г. Н. Геннади вздохнул на страницах своего дневника: «„Современник“ опять ополчился на нашу братью. В каждой книжке нападки на нашу братью. И все это для потехи публики. Что делать? Надо терпеть» (2). Но молчанье библиографов в ответ на нападки объяснялось, конечно, не терпением. В стане библиографов были такие блистательные перья, как С. А. Соболевский, М. Н. Лонгинов, П. А. Ефремов, в совершенстве владевшие приемами литературной полемики. Молчание книжников куда более весомо выражало их отношение к «воjakам», чем любые тексты. Постепенно слово «библиограф» стало обрастать уничижительными эпитетами, вошло в анекдоты, стало мишенью острот.

Однако в научных кругах такая критика вызвала вполне объяснимое возмущение. Когда в 1856 году появилась статья двадцатилетнего Н. А. Добролюбова «Собеседник любителей русского слова» (под псевдонимом: Лайбов), в которой впервые в русской печати была дана неуважительная аттестация библиографа, а сам он уподоблялся жалкому рудокопу, собирателю сырых фактов, почтальону, которому надо только знать название городских улиц, а труд его назывался мозольным и «самым механическим из ученых трудов», — это вызвало возмущенный отклик человека в данном случае «стороннего», не принадлежащего к оскорбленному сословию и тем самым вполне объективного. Это был Алексей Дмитриевич Галахов — историк литературы, критик, известный педагог, благородная личность. Он был создателем учебников и хрестоматий по русской словесности, по которым училось не одно поколение отечественных юношей. Достаточно сказать, что первая его хрестоматия выдержала с 1863 по 1918 год 40 переизданий. Галахов был человеком вполне прогрессивных взглядов и с уважением относился к «Современнику».

Галахов пишет: «В этой статье, кроме суждений о „Собеседнике“, есть нечто и другое, что вовсе к „Собеседнику“ не относится. Вступление ее занято игривою характеристикой двух направлений русской критики: библиографического, или фактического, имеющего

предметом собрание и указание литературных явлений, и собственно-исторического, представляющего дух и направление литературы, на основании исследованных фактов. Библиографическое направление не возбуждает сочувствия автора: сделавшись господствующим в наше время, оно, по его мнению, достигло уже смешных крайностей. (Далее следует обширная выписка из статьи Добролюбова — Л. Р.) Умолчим о том, насколько эта игривая характеристика библиографических трудов прилична в „Современнике“ — журнале, который был украшен статьями о Дельвиге г. Гаевского, исполненными библиографическими подробностями, и который в настоящее время принимает на свои страницы весьма интересные библиографические записки г. Лонгинова. Не возьмем на себя и защиты библиографического направления критики — направления полезного, даже достойного уважения, по собственному сознанию г. Лайбова. Мы думаем, что все полезное и необходимое до того уважительно, что может обойтись и без снисходительного словечка даже. Каждому литератору, если только он не самозванец, известно, каким образом возникла и сильно развилась у нас библиография. Она явилась вследствие серьезного воззрения на тот предмет, которому обязана служить, — на историю литературы. История литературы имеет место только при тщательном собрании и всесторонней разработке данных. Труды библиографические — необходимый ее материал. Вместе с понятием о значении и важности здания, создаваемого на известном основании, возвышалось и понятие о значении и верности основания. Требования на библиографию и от библиографии шли параллельно с требованиями на историю и от истории <...>. Библиографические труды — доказательство более зрелого, более серьезного занятия историей литературы» (3).

Это — мнение солидного профессионала-литературоведа и человека, много и плодотворно поработавшего в отделе критики «Отечественных записок» времен В. Г. Белинского, в то время как его оппонент был лишь начинающим двадцатилетним журналистом, не имевшим опыта ни в той, ни в другой области. Как тут не вспомнить словечко умницы В. Ф. Ходасевича: «Критик, не поработавший по истории литературы, всегда подозрителен в смысле его компетентности» (4). Галахов, в свое время входивший в «команду» Белинского (кстати, это по его рекомендации тот был приглашен А. А. Кра-

евским), в своих воспоминаниях тепло отзывался о тех временах, но был достаточно объективен, чтобы понимать, а как историк литературы — и ощущать в своей повседневной работе наступление новых времен, когда уже на одном таланте, вкусе и превосходном перо не построишь историю литературы. Критики же «Современника» полагали, что Белинским уже дана полная и окончательная, неизблемая картина развития российской словесности. Они не принимали работ новой, фактической школы, считая это отступлением от заветов Белинского. Но, кроме ревности к заветам Белинского, были тут и соображения вполне земного происхождения. Эта борьба подогревалась не в последнюю очередь стремлением завоевать читателя и журнальную площадь, ибо библиографы посягали как на то, так и на другое.

В частном письме 1853 года Н. Г. Чернышевский пишет: «Как пример перемены, происшедшей во всех областях умственной деятельности, укажу вам современное направление литературной критики. Она обратилась в чистую библиографию. Место Белинского занимают теперь Геннади и Тихонравов, знающие наизусть Сопикова и Смирдинский каталог с тремя прибавлениями <...>. Эти господа с презрением смотрят на прежние стремления людей, занимающихся критикой как средством распространения человеческого взгляда на вещи...» (5) А через два года он же (уже сотрудник «Современника») сообщает родным в Саратов: «Пристрастие к библиографии <...> теперь упадет, отчасти при моей помощи» (6). Эти цитаты, до затертости воспроизводившиеся в нашей историко-библиографической литературе, ни разу не проанализированы. Между тем они многое открывают. Итак: «место Белинского». О каком «месте» идет речь? «Библиографы» не посягали на «место Белинского» в российской общественной мысли, да и в критике тоже. Н. С. Тихонравову в 1853 году — 21 год, он студент, хотя уже проявил себя в исследовательской работе; Г. Н. Геннади — 27 лет, он начинающий библиограф. «Место», которое они заняли, — это предоставляемые им редакциями самых популярных журналов страницы отделов критики и библиографии. «С презрением»? Откуда это известно? Что до Геннади, то он Белинского просто боготворил, свидетельство чего — записи в дневнике, в «Списках прочитанных книг» и, наконец, в «Справочном словаре русских писателей и ученых», где о критике

написано: «Он вел его (критический отдел „Отечественных записок“ — Л. Р.) с тактом, философским взглядом, тонким вкусом и сочувствием ко всему живому и дельному в нашей литературе. Часто статьи его, всегда отличавшиеся живостью изложения и меткостью характеристик, проводили философские идеи и результаты западной науки и таким образом имели важное дидактическое значение для нашей публики, особенно для молодежи» (7). Уж какое тут «презрение»! Как видим, Геннади восхваляет Белинского не только как литературного критика, но и как публициста-общественника. Можно не сомневаться в том, что и московский студент Тихонравов относился ко всеми почитаемому имени Белинского с традиционным уважением — вообще на Белинском примирялись все противоречия, его уважали все. В чем же дело? Откуда обвинения против «этих господ»? А в том, что оба эти лагеря — революционные демократы и библиографы — имели очень мало точек соприкосновения даже просто в житейском плане и плохо знали друг друга. Был человек, одно время служивший связующим звеном между «Современником» и миром книжников, — М. Н. Лонгинов, но и он, подобно И. С. Тургеневу, Л. Н. Толстому, П. В. Анненкову, Д. В. Григоровичу и другим, бежал от грубости Добролюбова. Упоминание Чернышевского об упадке библиографии тем более нелепо, что как раз с середины 1850-х годов русская библиография вступает в период расцвета, длившегося более четверти века. Остановить или даже замедлить развитие библиографии революционные демократы не могли, но моральный урон, без сомнения, был ей нанесен. Стараниями критиков «Современника» и «Русского слова» был сконструирован образ библиографа — оторванного от живой жизни «книжного червя», слабо разбирающегося и в нуждах науки, ибо он лишь «в библиографии угобзился зело» (8). М. Е. Салтыков-Щедрин сравнивал Лонгинова с утопленником (9) и живописал в «Письмах к тетеньке» сборища библиографов, которые по ночам занимаются комментированием «Черной шали» и выражают благодарность Геннади за указанный им «чернильный клякс» в рукописи великого поэта. М. А. Антонович осмелел работу Лонгинова о Н. М. Карамзине, считая, что сообщаемые им подробности об этой замшелой личности никому никогда не понадобятся (10).

Когда вышло подготовленное по законам фактической школы Собрание сочинений Г. Р. Державина под редакцией Я. К. Грота, «Современник» встретил его в штыки — «за отрыв от живого мира», выразившийся в выборе устаревшего поэта, и за «опеку над читателями», то есть за многочисленные комментарии. Между тем это было первое в России издание академического типа, положившее начало целой серии подобных работ. Как полагал Грот, все было направлено на подрыв коммерческого успеха книги, сделанной не по старым эстетическим рецептам (11). Революционные демократы клеймили фактографов словами «раздраженный библиограф», «стыдливый библиограф»... Потешаться над библиографами стало как был признаком хорошего тона. Укажу на совершенно уникальный случай. К. И. Чуковский в своем эссе «Миша», разъясняя читателю причины травли Лонгинова «Современником», приводит такой резон: Лонгинов подлежал разоблачению как порнограф, как «реакционный чиновник» и ... как библиограф. Притом не плохой какой-нибудь, а просто как представитель сословия, над которым принято было смеяться (12).

Дело не ограничивалось отдельными выпадами. Доходило и до целых статей разгромного характера. В 1862 году в «Русском слове» была опубликована статья Д. И. Писарева «Бедная русская мысль». В ней с резкостью, которой позавидовал бы покойный Добролюбов, давалась характеристика библиографического (фактического) направления в гуманитарных науках. Основным объектом нападок послужил вышедший незадолго до этого и удостоившийся премии Академии наук труд П. П. Пекарского «Наука и литература при Петре Великом». В этой работе, не утратившей значения и поныне, был с предельной для того времени полнотой воссоздан книжный мир России петровской эпохи. И современники, и ученые нашего времени дают этой работе самую высокую оценку. Что же так рассердило тогдашнего властителя дум? По его мнению, подобные (библиографические) работы не имеют научного значения, ибо содержат «обилие фактов нужных или ненужных, годных или негодных». Это — черновик, недостойный печати, ибо «дает очень много фактов и очень мало выводов», — то есть Писарев отказывал в праве на существование самому жанру книжного репертуара. «Если вы трудолюбивый исследователь, — поучал он автора, — и не признаете за собой спо-

собности созидать здание, то есть ярко изображать или стройно группировать и сообщать факты, то собирайте их с толком, умеете различать, что камень, что дерево, а что и просто навоз» (13). Короче говоря, Пекарскому ставится в вину как раз главное достоинство его труда — полнота сведений. И это говорилось ученому, пользовавшемуся всеобщим уважением! Обратим также внимание на эту тенденцию — перенесение требований, предъявляемых к популярному изданию (а позднее — к рекомендательной библиографии), на труды репертуарного характера, на ретроспективные своды и вообще на «большую» библиографию в целом.

Если бы не трагическая судьба и посмертная канонизация основных противников (точнее — хулителей) библиографии, эта журнальная перебранка была бы вскоре забыта и не оставила бы заметного следа. А при указанных обстоятельствах каждое слово, вышедшее из-под пера революционных демократов, получило статус Завета.

Если еще в 1926 году в программе курса библиографии А. Г. Фомин мог позволить себе обозначить параграф, как «нападки Добролюбова на библиографию», то уже десятилетие спустя такая формулировка была бы квалифицирована как политически неверная. До опубликования статьи Н. В. Здобнова «Добролюбов и библиография» (1936) никто не называл эти нападки борьбой и вообще не придавал им столь серьезного идеологического значения. Но время требовало классовой борьбы, в том числе и опрокинутой в прошлое. И вот был создан сюжет «Революционные демократы и библиография». Из него следовало, что революционные демократы были озабочены поднятием идейного багажа библиографии и в конце концов преуспели в этой благородной борьбе с формалистами, объективистами и прочими негативными персонажами, невесть откуда взявшимися для поддержания сюжета. Мало того! Вся библиография середины прошлого века объявлялась зараженной этими недостатками, причем ни одного историка не смутило, что те же люди именуются в тех же трудах выдающимися библиографами. Как это могло совместиться — тайна сия велика есть. Но смутить марксистских историков такими пустяками невозможно... Конечно, среди библиографических работ середины века встречались и слабые, и случайные, и просто глупые. В конце концов любая отрасль знания (тем более — гуманитарного) вправе иметь своих неудачников. Вдруг откуда-то появил-

ся «академик статский советник» (как он сам себя аттестовал) В. И. Всеволодов, выпустивший в свет указатель статей из всех русских журналов с 1735 по 1854 год. Его хватило только на две неполные буквы русского алфавита. Было подсчитано, что для завершения этого Левиафана понадобится еще целое столетие. Вежливо, но весьма ядовито этот прожектер был высмеян Геннади (14), обычно вполне терпимо относившимся ко всем явлениям библиографии. Ставшая притчею во языцех парочка — Ю. М. Богушевич и Н. Д. Бенардаки, которые в «Указателе статей серьезного содержания» поместили фельетоны Ф. В. Булгарина, — подверглась осмеянию не только со стороны революционных демократов (15), но и академически сдержанного «профессорского» «Атенея» (16). Ну а уж когда сам Геннади так опростоволосился, что пропустил (в корректуре, конечно) «Мертвые души» в списке сочинений Н. В. Гоголя, — это для противников библиографии был просто праздник, именины сердца! (17) Естественно, подобные глупости и «ляпы» в библиографии недопустимы, но они никак не могут дискредитировать явление в целом. Гуманитарные науки переживали в те годы эпоху первоначального накопления фактов, и приходится удивляться не тому, что случались подобные анекдоты, а тому, что их было так мало! Конечно, они давали обильную пищу для юмористов и действительно были смешны. Но можно подумать, что стан библиографов представлял собою некую злобную «могучую кучку», если по нему стреляла такая тяжелая артиллерия: Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Антонович — весь цвет тогдашнего нигилизма. И когда советской историко-библиографической науке надо было как-то объяснить вражду революционных демократов к почтенным людям, книжникам, хранителям культуры, — было сконструировано явление, получившее название «реакционного формализма и объективизма в библиографии 50—60-х годов XIX века». Но не сразу. Вначале речь шла только об отдельных отрицательных явлениях на общем положительном фоне, а впоследствии фон ушел в тень, а не связанные между собою мелочи превратились во вредоносное течение.

Первым на формалистические тенденции в библиографии середины прошлого века, как уже отмечалось, указал Н. В. Здобнов в середине 30-х годов нашего столетия. Говоря об увлечении библио-

графическими разысканиями, о «моде» на библиографию, он отмечает, что среда «библиографической молодежи» тех лет была «неоднородной», что в ней встречались люди различных взглядов и убеждений (что вполне верно), но среди них были и такие, которые отличались «безыдейной любовью к книжным редкостям» (18). К сожалению, исследователь не разъясняет, в чем был грех такой любви. Надо полагать, что это утверждение было данью установившемуся к тому времени негативному отношению к библиофильству вообще, которое трактовалось как барская затея. Но, бросив это обвинение, Здобнов тут же справедливо замечает, что характерное для того времени увлечение стариной «было тесно связано с отечествоведением. <...> „Родиноведение“ было в числе важнейших педагогических вопросов, горячо обсуждавшихся в 60-х годах как общей, так и педагогической печатью» (19). Кроме того, Здобнов, единственный из историков библиографии, отметил, что «вопросы старины и библиографические разыскания в старинной русской литературе не были политически нейтральными» (20). Эта важная мысль была затем вовсе утрачена и не развита в трудах позднейших авторов, полагавших, что увлечение стариной было явлением безусловно отрицательным, никак не связанным со злободневными проблемами. Итак, с одной стороны на Здобнове лежит грех «открытия» формализма, с другой же — нельзя не подивиться его объективности: в целом он признает, что середина прошлого века была для библиографии временем громадных достижений и успехов, что подтверждается даже просто перечнем выполненных в это время библиографических работ, не потерявших научно-справочного значения до наших дней. Надо помнить, в какое время действовал этот историк. Его труды выдают в нем образованного человека, еще не вполне сломленного страхом, еще чтящего культуру во всех ее проявлениях.

Совсем иную картину мы встречаем в позднейших трудах, в которых «библиографизм» осуждается уже безоговорочно, как крайне вредное реакционное течение, охватившее всю библиографию как раз в ту пору, когда Россия жила ожиданием перемен (тенденции, казалось бы, несовместимые). Причем поруганию подвергаются и «собственно» библиографические работы (которые, к слову сказать, не называются), и библиофильские разыскания, называвшиеся сто

лет тому назад тоже библиографией, и не делается разницы в целях и задачах между теми и другими: все были формалистами!

«История русской библиографии» Здобнова, создававшаяся им во второй половине 30-х годов и при жизни ученого не публиковавшаяся, вышла в свет уже в послевоенные годы, и без каких бы то ни было изменений и комментариев. Это понятно: между ее созданием и выходом в свет история библиографии как наука спала мертвым сном. Но вот наступило мрачное время «борьбы с космополитизмом», а с ним и эпоха «приоритета», когда любого мало-мальски прогрессивного деятеля прошлого превращали в корифея. Особенно это заметно на примере философии. Когда подлинных философов — П. Я. Чаадаева, Вл. Соловьева, мыслителей начала XX века — вынули из обоймы, кто остался? Конечно, только революционные демократы. В 1956 году выходит в свет «Хрестоматия по русской библиографии», в ней читаем, что «революционные демократы — крупнейшие ученые своего времени». А библиографы? «Узкий эмпиризм в области истории литературы <...> объективно был одной из форм борьбы против революционно-демократических идей», и участниками этой борьбы были как раз библиографы. «Печаталось много сообщений о различных разысканиях, — читаем мы далее. — Весь этот материал, в изобилии появлявшийся на страницах периодических изданий, выполнял идеологически реакционную функцию, отвлекая внимание читателей от общественной борьбы» (21). Последнее особенно любопытно. Попробуйте-ка представить себе читателя (непонятно, какого именно), который, прочитав, скажем, «Библиографические записки» Лонгинова, печатавшиеся на страницах «Современника», взял и отвлекся бы от общественной борьбы, которой, надо полагать, он иначе предался бы полностью. В хрестоматии есть уже целый раздел «Формализм и объективизм в библиографии 1850—1860-х годов». Кто они, эти формалисты? Это, конечно, Геннади, Лонгинов, Полторацкий, вся редакция «Библиографических записок» Афанасьева—Полуденского и Р. И. Минцлов, затем как-то выпавший из поля зрения историков. Забыли, что ли? Забавный случай! А может быть, он посмертно исправился? В этой «интересной истории» все может быть. Особенно сурово была осуждена редакция «Библиографических записок» (которая, как теперь уже твердо установлено, состояла из последователей А. И. Герцена). «Формальный

подход к библиографии, — сообщает хрестоматия, — наиболее ярко выразился в журнале „Библиографические записки“. <...> была открыто (!) высказана точка зрения, знаменовавшая отход от тех общественных задач, которые осуществлялись революционными демократами. Книга признавалась интересной прежде всего за свою редкость. Об этом ясно написано в листовке, предшествовавшей изданию журнала» (22). Тут же приводится в отрывках эта самая листовка... Ничего похожего в ней нет! Недаром десять лет спустя именно ее Н. Я. Эйдельман прочитал как манифест русских герценовцев, как призыв к рассекречиванию былого (23). Да так оно и было, учитывая эзопов язык того времени... О бедная Клио!

Одновременно с хрестоматией выходит и первый вузовский учебник «Общая библиография». Тут нашим библиографам достается еще хлеще! В разделе «Реакционный формализм и объективизм» читаем: «Обострение классовой борьбы (Когда? В середине 50-х годов? В эпоху либеральных надежд и упований? — Л. Р.) вызвало значительную активность реакционной формалистско-объективистской библиографии. Подобно тому, как в литературе возникла теория «чистого» искусства, считавшая искусство самоцелью, никак не связанным с жизнью, так и в библиографии этого периода сложилась своеобразная «библиография для библиографии». Сторонники этого направления полагали, что задачи библиографии должны ограничиваться только описанием, что библиография не имеет и не может иметь идейного содержания. Отсюда — установка на исследование мелочей, любопытных только по своей редкости или неизвестности» (24). Особенно хорошо звучит в этом контексте слово «исследование» (пусть хоть и мелочей). Если имеет место исследование, то о каком исключаящем все виды библиографической деятельности «описании» можно вообще говорить? Да и аналогия с искусством для искусства — некорректна: библиография — вспомогательная научная дисциплина и существовать вне отражаемого ею книжного потока (с одной стороны) и потребителя (с другой) просто не может.

После Здобнова Ю. И. Масанов в статье «Добролюбов и Чернышевский о библиографии и библиографическом направлении в литературоведении и литературной критике» (1954) как-то пытался разобраться в этом сложном явлении и сформулировать более или менее вразумительно, в чем же именно выразился формализм и объ-

ективизм. Масанов выдвигает в адрес библиографов середины прошлого века следующие обвинения: 1) увлечение стариной как явление безусловно реакционное; 2) мелочность разысканий; 3) недооценка литературной критики и 4) библиофильские тенденции. «В историко-литературных исследованиях и библиографических работах тех лет, — пишет он, — сказывалось увлечение стариной, мелочными разысканиями отдельных фактов, часто не имеющих принципиального значения, историки литературы и библиографы недооценивали литературную критику и были скорее коллекционерами литературных раритетов, собирателями фактов. В самой же литературной критике наблюдался крен в библиографию» (25).

Масанов, в отличие от других лиц, занимавшихся этой темой, отлично понимал, что нападки революционных демократов адресованы как раз менее всего библиографии, понимаемой в современном смысле слова. «Анализируя эти высказывания Добролюбова, — пишет он, — следует иметь в виду, что в 50-е годы XIX века термин „библиография“ имел несколько иное значение, чем то, которое мы вкладываем в него сейчас. К библиографии относили тогда не только библиографические указатели и списки, но и историко-литературные исследования, заметки по частным вопросам биографии и творчества писателей, текстологические работы, не говоря уже об истории книги и библиотековедении» (26).

Казалось бы, при столь здравом понимании обстоятельств, автор не замедлит определить, какие именно замечания и какого рода относятся к «собственно» библиографии, а какие — к другим областям литературной работы. К сожалению, ничего этого мы не находим в статье Масанова. Тут, как и у Здобнова, все замечания революционных демократов, в которых встречается слово «библиография», отнесены на счет библиографов. К слову говоря, подобная методика искажает не только картину библиографии того времени, но и смысл высказываний революционных демократов. Они и сами не очень ясно ощущали водораздел между научными и публицистическими жанрами, а наши советские ученые еще добавили путаницы. Давайте же попробуем разобраться в конкретных обвинениях, предъявляемых Масановым библиографии середины прошлого века. Мы уже видели, что это за обвинения; заглянем внутрь. Первое — увлечение стариной, «уводившее...» — и далее по схеме. Если еще ко времени ни-

колаевской драконовской цензуры можно как-то применить этот тезис, то уж к эпохе либеральных упований (а именно тогда наступает расцвет библиографии) это вовсе не применимо. Здесь — шаг назад от Здобнова, обусловленный, возможно, спецификой того времени: 1954 год, а написана статья, конечно, еще раньше. Думаю, что Масанов понимал гораздо больше, чем смел и смог сказать... Далее идет — увлечение мелочами и темами, не имевшими принципиального значения для историко-литературной науки. И все это в одной связке. Между тем здесь два различных сюжета. Что касается увлечения мелочами, то такой порок действительно был присущ библиографии, понимаемой как литературоведение. Но это ведь не было сознательной установкой: попадались мелочи — их и собирали. И дело даже не в собирании оных (этот процесс наблюдается и поныне: взять хоть пушкиноведение), а в том, что эти молодые «библиографы» спешили опубликовать каждую такую мелочь. Вот здесь революционные демократы были правы. Заметим, что упреки в поспешности иных публикаций раздавались и из лагеря эстетиков (см., например, ворчание А. В. Никитенко на страницах знаменитого «Дневника»). Но ведь этот вопрос не имеет ничего общего с идеологией, как это пытались доказать впоследствии. В конце концов вопрос упирался в личности: в умение, вкус, такт, чувство соразмерности вещей и явлений, свойственные каждому данному исследователю. А это — качества редкие и драгоценные, далеко не все ими обладают. Совсем иное дело — упрек в выборе тем, не имевших принципиального значения для развития науки и общественной мысли. Это — чистейшее недоразумение, происшедшее от слабого знакомства с трудами «библиографов». Ведь это они вернули России, заговорив о них впервые на страницах печати, Новикова, Чаадаева, декабристов (цикл публикаций в «Библиографических записках» под невинным заголовком «Из непечатной лирики 20-х годов»), не говоря уже о солидном вкладе в пушкиноведение, который признают и современные пушкинисты. Это только бросающиеся в глаза примеры. Гоголь, Лермонтов, Карамзин, Радищев и много иных славных имен было «поднято» нашими библиографами, часто ценою настоящей войны с цензурой, а когда и вовсе нельзя было опубликовать материал в России — его переправляли «прямо в Лондон, к Искандеру». Последнего обстоятельства ни Здобнов, ни Масанов еще не знали: это стало

известно лишь в 1960-х годах, но достаточно ознакомиться со списками трудов библиографов, чтобы убедиться в общественно-научной значимости избираемых ими тем. Ведь кто они были, эти библиографы? Почти все сплошь инакомыслящие: С. А. Соболевский и С. Д. Полторацкий — представители удушаемой дворянской фронды; А. Н. Афанасьев — фигурант процесса о лондонских пропагандистах; Е. И. Якушкин — сын и единомышленник декабриста; В. И. Касаткин — сотрудник Герцена, впоследствии — политический эмигрант... М. Н. Лонгинов — известный либерал, Г. Н. Геннадий — умеренный, но стойкий либерал, не принимавший «петербургской реакции» (его выражение), академически, но отнюдь не верно-подданнически настроенные Н. С. Тихонравов, П. П. Пекарский, петербургский смутьян В. П. Гаевский и мало ему в этом уступавший Н. В. Гербель — вот они, библиографы 1850—1860-х годов. Да и само бескорыстное служение библиографии, не приносящее ни денег, ни славы (а напротив, одни насмешки), уже предполагало невозможность какого бы то ни было «реакционного формализма», такого же объективизма и прочих небылиц.

Одним из главных обвинений, предъявляемых библиографам прошлого всеми исследователями — от Здобнова до Рейсера и Масанова, — является «недооценка литературной критики». А что это, собственно, означает, если перестать воспринимать подобное обвинение как очередное заклинание, а вдуматься в смысл? Начнем с того, что и революционные демократы, и представители эстетической критики, и сами библиографы то и дело называли библиографию критикой. Так, например, Лонгинов, самый авторитетный библиограф того времени, открывая на страницах «Современника» цикл своих библиофильских разысканий (названных — заметим — «Библиографическими записками»), с удовлетворением отмечал, что подобные критические труды встречают одобрение читающей публики. Вот как все было смешано! Уж какая тут недооценка! Дело было совсем в другом — в начавшемся процессе отделения научного литературоведения от публицистики. Этот симбиоз был (и в определенной мере остался) исконно русской чертой. Он был, как известно, вызван специфическими условиями, в которые была поставлена отечественная печать. Драконовская цензура, полное отсутствие гласности, запрет на обсуждение внутренних дел страны — заставляли

применять некую тайнопись (эзопов язык) и искать хоть какую-то лазейку. Ею оказались отделы критики и библиографии, в которых под видом разбора книги можно было попытаться сообщить догадливому читателю свои мысли о России. Это искусство было доведено до совершенства Белинским и подхвачено теми, кто считал себя его учениками.

Между тем обстоятельства переменились. Умер Николай I. Цензура несколько ослабила свою хватку. Журналы получили вожделенную возможность обсуждать российские дела; многие из них завели раздел «Внутреннее обозрение», ставший в некоторых органах печати центральным. В этих условиях роль разделов критики и библиографии как общественной трибуны резко уменьшается. Но сила традиции, но завидная роль властителей дум — все это делало процесс освобождения литературоведения, а с ним и библиографии от ига публицистики очень долгим и болезненным. Как литературоведы, так и библиографы не очень-то хотели терять возможность называться критиками, делая при этом совсем иное дело. Так что можно говорить не о «недооценке», а о завышенной оценке литературной критики кем бы то ни было. Как раз в России титул критика был весьма почетным, как же было от него отказываться? Всем хотелось быть наследниками Белинского! Но библиографы шли дальше; иные из них уже отчетливо понимали, что настали другие времена и что литературоведение стремится из области высоких идей выбраться на жесткие рельсы науки. Вот этого революционные демократы простить им не могли. Исторически вполне объяснимо негодование Чернышевского по адресу тех, которые, как он пишет, «имели неосторожность сказать, что история русской литературы с Ломоносова до Пушкина предмет новый, не объясненный никем до того времени и не исследованный основательно» (Такого, конечно, никто не говорил.) «Прославившиеся в то время библиографы, — пишет он далее, — были превозносимы особенно за то, что чрез них критическая история (!) (подчеркнуто мною — Л. Р.) нашей литературы выдвигается на основании совершенно новом — на основании разработки фактов, о необходимости которой (будто бы) прежде у нас и не думали, считая (будто бы) подробное исследование фактов бесполезным. К этим похвалам присоединялись упреки Белинскому за то, что он сам (будто бы) пренебрегал разработкою фактов, доказывал

(будто бы) бесполезность ее» (27). Все это — плод недоразумения. Конечно, ученые новой школы уже пытались в то время выработать новую методику и хорошо видели промахи Белинского, но они искренно считали себя не противниками, а продолжателями дела знаменитого критика. Имели или нет они право на подобные притязания — это другой вопрос. На мой взгляд — не имели, ибо были заняты совсем другим делом и добивались совершенно иных результатов. Но субъективно они были, конечно, на стороне Белинского, чья в нем крупного деятеля своего времени. Здесь уже приводился отзыв Геннади. Еще более высоко (если это возможно) вклад Белинского в русскую культурную и общественную жизнь оценил Лонгинов в двух больших рецензиях на выходящие в свет тома сочинений критика. Так что ламентации Чернышевского — скорее «пленной мысли раздражение», чем констатация факта. Ни по отношению к Белинскому, ни по отношению, как уже говорилось, к критике вообще никакой недооценки в то время не было хотя бы в силу неразделенности функций критики, библиографии и литературоведения.

Раздавались, правда, уже и редкие трезвые голоса. Так, Пекарский заметил (1856 год!): «По нашему мнению, библиографию не должно смешивать с историей литературы. В качестве библиографа можно рыться в старых русских книгах, не пропуская ни одной и не устрасая никакой посредственности <...> но, чтобы быть полезным науке, библиограф должен стараться о возможной полноте своего труда, избегая изрекать приговор» (28) (подчеркнуто мною — Л. Р.). Дорого обошлось ученому его самоограничение. Ведь именно за это так грубо напал на него Писарев (заметим в скобках, что Чернышевский считал Пекарского «умнейшим и ученейшим», — еще один пример того, как эпигоны искажают мнения своих предшественников). Большинство же «библиографической молодежи» долгое время не желало расстаться именно с «приговором», то есть с критикой. Сетую на то, что в прежние времена мало обращали внимания на мелкие факты, М. Л. Михайлов утверждал, что «критикам (подчеркнуто мною — Л. Р.) нового, исторического направления выпал на долю двойной труд: им приходится в одно и то же время быть и каменотесцами и архитекторами» (29). А заодно они (и сам Михайлов) были библиофилами. Герой сатиры Некрасова «Литературная

травля, или Раздраженный библиограф» поступает следующим образом (чтобы добиться «литературной славы»):

«Недолго думал думу,
Достал два автографа —
И вышел не без шума
На путь библиографа».

Вот, значит, каков был обычный путь: сначала библиофильство, затем публикация добытых сведений, а там уже открыта дорога к званию библиографа, а с ним и к литературной славе.

Уж если говорить о «недооценке» литературной критики, то она была скорее со стороны революционных демократов, которые низвели ее до разговоров «по поводу» и, как совершенно точно определил А. Л. Волинский, «ввели в литературу грубую утилитарную логику, чуждую всяких утонченных эстетических интересов <...> и надолго убили критическое понимание русского общества» (30).

Но идем дальше по пути обвинений. Есть такое страшное словожупел — «библиофильские тенденции» (это та самая «безыдейная любовь к книжным редкостям»), в которых упрекали, например, Геннади, не объясняя, впрочем, в чем их вред. К счастью, резкое изменение в отношении нашего общества к библиофильству освобождает автора от объяснений по этому поводу. Непонятно только одно: если польза книгособирательства ясна теперь каждому, то неужели ее не понимал умный Чернышевский? Остается предположить, что ему приписано это непонимание — во славу чистоты идеологии. Скажу только, что: 1) никогда ни ранее, ни позже не было в русской библиографии такой большой группы знатоков книги, и знатоками их сделало именно библиофильство; 2) большая часть публикаций и библиографических указателей была сделана по фондам личных библиотек. Как пример, укажу на пятитомное «Обычное право» Е. - И. Якушкина, полностью выполненное по книгам его собрания. В рукописном отделе РНБ хранится сделанный Геннади и писанный его рукой большой указатель русских альманахов. В предисловии он сообщает, что работа сделана с помощью его библиотеки (31). То же можно сказать об эссе М. Л. Михайлова «Старые книги», о многочисленных работах Лонгинова. Примеров — великое множество.

Есть еще одно кочующее из одного исследования в другое требование марксистских историков. Это — «близость к жизни». Коли ее

нет — беда! Но что это, собственно, такое, когда речь идет о дисциплине историко-литературного цикла? Как ее определить, эту близость? Вот, например, упоминавшееся «Обычное право» Якушкина — вещь для своего времени чрезвычайно актуальная. А скажем, указатель Геннади «Что писано о Пушкине» — он-то близок к жизни или нет? Как вообще определить эту близость, если речь идет о фундаментальной работе, а не об однодневке, все достоинства которой исчерпываются актуальностью?

Но вот мы читаем в новейшей работе, притом докторской диссертации: «Известны его (Добролюбова — Л. Р.) иронические высказывания в адрес библиографов и библиографии, но относятся они в основном к литературным критикам библиографического направления, уходившим от жгучих вопросов современности в историю и занимавшимся выискиванием мелочей» (32). А кто же они, эти «литературные критики библиографического направления», как не те же наши герои-библиографы? Казалось бы, что в капитальной работе, посвященной развитию взглядов на библиографию, уже можно (и должно) отрешиться от подобных банальностей, равно ничего к тому же не объясняющих. Разве такими словами, таким тоном надо бы говорить о явлении, бывшем объектом злобной фальсификации не одно десятилетие? Ведь здесь, в сущности, автор присоединяется к вздорным обвинениям в «уходе» от жгучих вопросов современности, как будто все те молодые люди, которых называли библиографами, были какими-то замшелыми старцами и анахоретами. Грустно все это... Что же — опять, по второму кругу — «революционные демократы», «борьба с библиографией», «формализм и объективизм», «уход от жгучих вопросов»... Бедная Клио, бедные студенты...

Для историка литературы или общественной жизни и их верно-го оруженосца — библиографа нет тем жгучих и не жгучих, а есть работы, добросовестно (еще лучше — талантливо) выполненные, и халтура конъюнктурного типа, которой нас столько десятилетий потчевали, восхваляя ее за актуальность. Вообще об этих инвективах в адрес библиографов и говорить всерьез не стоило бы, если бы они не въелись с такой силой в сознание историков и не дожили бы в той или иной (прямой или скрытой) форме до наших дней.

В истории науки (и не только гуманитарной) бытуют порой упорные предрассудки, уже, казалось бы, давно опровергнутые фактами,

но привычные и удобные, как все простое... Наша тема — из этого арсенала. Великолепно сказал по этому поводу Герцен (имея в виду отношение «желчевиков» к дворянской культуре): «Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас — не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен» (33).

Хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство: с годами отношение советских историков к «библиографам» становится все более суровым. Особенно это заметно в периоды ужесточения тоталитарного режима, которые, подобно нашествиям варваров, время от времени сотрясали нашу страну. Начиналась очередная охота на ведьм, поиски их даже в прошлом. А для исторической науки (во всех ее отсеках) враг всегда имелся в запасе: это тот, которого в свое время хоть словом задел кто-то из революционных демократов. Справедливость нападок никогда не проверялась и не подлежала анализу. Хорошо еще, если дело касалось классиков первого ранга — скажем, Толстого или Тургенева, — тогда это как-то вуалировалось. Но беда, если речь шла о деятеле, по нашей табели о рангах принадлежавшем ко второй категории. Пощады ему не было. Прежде всего явления или лица сравнивались с «более прогрессивным». Так, например, журнал «Библиографические записки» укоряли в том, что его установки «не дотягивали» до идеологии революционных демократов (Здобнов) или, хуже того, противоречили ей (Рейсер). О внутренних качествах журнала тут уж и говорить незачем: ему априори уготовано место среди врагов истины, прогресса и передовой культуры. Все должны были, как солдаты, равняться на «штаб-квартиру революционной демократии», как у нас по-военному называют «Современник».

Здесь уже говорилось о том, что в период охоты на космополитов был сформулирован тезис о «реакционном формализме и объективизме», под который подпадали буквально все выдающиеся библиографы середины прошлого века (что почему-то не мешало им создавать указатели, вошедшие в золотой фонд отечественной библиографии). Однако ни в одной работе по сути не разъяснено, что под этим кроется. В архиве Здобнова сохранились тезисы не состоявшегося в 1936 году доклада, и они были опубликованы М. В. Машковой в 1980 году. Вот лишь когда мы узнали, что это такое! Автор сетует на то, что «вопрос о формализме в библиографии остается неосвещенным.

Даже нет ясного представления о сущности формализма в библиографии». Обратим внимание на эту характерную черту советской идеологии: нет еще даже «представления о сущности», но уже есть и активно применяется ярлык! «Формализм в библиографии, — пишет Здобнов, — является идеалистической системой библиографической мысли (!) (подчеркнуто мною — Л. Р.), родной сестрой формализма в искусствознании и литературоведении. Сущность его заключается в следующем: а) отношение к книге как вещи, притом оторванной от породившей ее социальной среды и имеющей самодовлеющее существование; б) вытекающее отсюда ограниченное понимание библиографического знания только как знания методов и техники библиографической работы, но не знания книги, ее содержания и классовой функции; в) отрыв библиографической практики от потребностей жизни» (34).

Попробуем «примерить» эту одежду к нашей теме. Последний пункт обвинения можно отринуть с порога. Пресловутый «отрыв от жизни», который специалисты этого дела умели находить в любых явлениях культуры, — не более чем очередное заклинание из арсенала разоблачителей. Можно подумать, что жизнь — это пункт А, а библиография (искусство, литература, подставьте любое явление культуры) — это пункт Б и длина расстояния между ними обратно пропорциональна их прогрессивности. А что означает «отношение к книге как вещи»? Как это проявляется в библиографии? Другое дело, если бы речь шла о книгособирателях. Да, среди них попадаются библиоманы, которых интересует не содержание книги, а какие-то ее внешние особенности. Черта эта скорее психопатологическая, и о ней много писалось в специальной литературе. В малозаметном, «стертом» состоянии ее можно подметить и у иных настоящих библиофилов. Так, известный Д. В. Ульянинский собирал преимущественно неразрезанные книги. Но как этот выверт может отразиться на библиографии (библиофильские и антикварные каталоги оставим в стороне), как это может быть признаком «идеалистической системы библиографической мысли» — понять невозможно. Библиограф уже по самому характеру своего труда не может относиться к книге как к вещи; для него она прежде всего — определенный текст, имеющий (по содержанию, а не по форме) присущее ему место среди других текстов. Конечно, если речь идет об описях старинных мона-

стырских и подобных им библиотек, где книги перечислялись в одном ряду с крестами, панегиями и прочим дорогим имуществом, — тогда, конечно, это было проявлением отношения к книге как вещи, притом дорогой. Но вольно же нашим историкам причислять эти хозяйственные описи к библиографии, а затем переносить их черты на «собственно» библиографические издания, да и на библиографию в целом! (35) Библиографии без знания (хотя бы поверхностного) содержания книги попросту не существует. Есть много градаций этого знания — от чисто информативного до глубоко творческого, но все равно это не может называться «отношением к книге как к вещи».

Но зато второй пункт, сформулированный Здобновым, требует более серьезного рассмотрения. Это — ограничение библиографического знания чисто техническими навыками. Такое случалось и случается, прежде всего в библиографиях учетного характера, где описание — доминирующий элемент. «Формализм» в подобных работах уже не порок, а органическая черта. Он особенно отчетливо проявляется в национальной (государственной) библиографии, имеющей дело с громадными потоками печатной продукции при минимальных сроках их обработки. Эту работу все более и более стремятся поручить машине. Что касается библиографов середины прошлого века, то к ним, знатокам книги, ее исследователям, текстологам и публикаторам, все эти обвинения вообще неприменимы. Как раз они, претендовавшие на причисление к критическому цеху, уж никак не грешили отношением к книге как вещи и ограничением библиографического знания одним лишь описанием. Приходится просто удивляться, каким образом такой серьезный исследователь, как Здобнов, мог попасться на такую примитивную идеологическую удочку. Правда, и времечко было такое...

Что же остается? А остается как раз любезная сердцу наших идеологов «классовая функция книги». Вот тут наши герои действительно не были на высоте: им и в голову не приходило, что, скажем, «Войну и мир» мог написать только аристократ, и в этом они сильно отставали от революционного демократа Петра Ткачева, называвшего эту эпопею «салонным художеством» и сразу почуявшего ее вражескую классовую сущность (вот как давно это укоренилось!). Не говоря уже о книжниках либерального образа мыслей — таких, как С. Д. Полторацкий, М. Н. Лонгинов, Г. Н. Геннади, — но и ярые демо-

краты — Е. И. Якушкин, В. И. Касаткин, П. А. Ефремов, М. Л. Михайлов — «недооценивали» этот момент. Для них любое подлинное явление культуры было ценным, независимо от того, какая среда его породила.

Обвинения, предъявлявшиеся Здобновым к библиографии середины прошлого века, — это еще цветочки. При всей зависимости от идеологических штампов своего времени, он все же сделал попытку понять суть осуждаемого им явления. Последующие авторы, писавшие о библиографии 50—60-х годов XIX века (в основном — историки литературы), уже и не задавались таким вопросом. Мы опускаем здесь многочисленные упоминания о библиографизме в трудах П. Н. Беркова — упоминания, сопровождавшиеся уничижительными эпитетами, — их слишком много начиная с 30-х и до 60-х годов нашего века. Но вот перед нами прекрасная книга С. А. Рейсера «Палеография и текстология нового времени» (первое издание — 1970 г.). Читаем: «Добролюбов не согласен заменить анализ идей их описанием. В этом революционный демократ увидел своеобразную модификацию „искусства для искусства“» (36). В чем увидел-то? В «описании идей»? Боюсь, что смысл этого пассажа от читателя безнадежно ускользает.

Апофеозом всей этой мелодрамы стало выступление доктора и профессора У. А. Гуральника на страницах коллективной монографии «Академические школы в русском литературоведении» (1976). Оказывается, что Добролюбов в борьбе с библиографами «решительно выступил против подмены идейно-художественного анализа произведений объективистским фактологическим комментарием. Он показал также, что так называемая „библиографическая критика“ занята либеральной фальсификацией русского литературного процесса и истории развития русской общественной мысли» (37). Комментарии тут, как говорится, излишни. Конечно, Добролюбов ничего подобного не «показал», да и показать не мог, ибо этого не существовало. Так библиографы стали объектом политических разоблачений, о которых ни у Чернышевского, ни у Добролюбова не было и речи. Даже Антонович с Писаревым не позволяли себе выходок, дискредитирующих политический облик библиографов.

Хочется поставить и такой вопрос: почему ни один из советских критиков «библиографического направления» даже не задался це-

люю выяснить: а каковы, собственно, были плоды «борьбы» революционных демократов с библиографией, почему этой теме придается такое значение? Что эта борьба дала науке, библиографии, читателю? А ведь без ответа на эти вопросы сама тема теряет смысл. В сущности, после Здобнова и Масанова всерьез к этой теме не прикоснулся ни один специалист — историк библиографии. О «библиографизме» писали люди, для которых это был только способ закамуфлировать нападки Добролюбова.

Уже около двухсот лет русских библиографов занимает вопрос: библиография — это наука или просто вспомогательное знание? На заре русского книговедения вопрос решался просто, тем более что авторитетные французские образцы указывали без колебания: Наука! В предисловии к «Опыту российской библиографии» В. С. Сопикова нет не только сомнений в научном статусе библиографии, но она объявляется одной из самых важных наук, ибо владеет через книгу ключом к любому знанию. «Она из всех произведений ума человеческого составляет, так сказать, всемирную Библиотеку, открытую для каждого». «Библиография из всех человеческих познаний есть самая пространнейшая наука» (38) — таково мнение автора «Предупреждения». Столь же высоко оценивают возможность библиографии авторы статей о ней в энциклопедиях и словарях. Таково же было и общественное мнение. Самоучка, представитель мещанского сословия, Сопиков поступает на службу в Императорскую Публичную библиотеку именно благодаря успешным занятиям библиографией. Сомнения в самостоятельном научном значении библиографии начались гораздо позднее, и, как это ни парадоксально, именно тогда, когда ее деятели начали заниматься «близлежащими» дисциплинами: историей литературы, отчасти критикой и текстологией. Противники новой, фактической — библиографической — школы поставили перед ней роковой вопрос о «фактах и выводах». Если библиография — самостоятельная наука, то где выводы из собираемого ею фактического материала? На этот вопрос представители библиографической школы не умеют дать вразумительного ответа (боюсь, что и сейчас мы не очень-то готовы на него ответить) (39). Но некоторые деятели новой школы уже ощупью подходили к решению этого вопроса, понимая двойственную природу библиографии — быть помощницей всех наук (и тут она — вспомогатель-

ная дисциплина) и накапливать материал для собственных выводов. В 1858 году автор, скрывшийся под литерой «М» (по моим предположениям — Л. Н. Майков), в статье «Русская библиография» писал, что она может быть «внешним мериллом внутренней жизни народа», и это было уже шагом вперед. «Кто хочет в кратком обзоре ознакомиться с нравственным движением какой-нибудь эпохи,— пишет он далее,— тот с пользою может просмотреть подробную библиографическую роспись книг этой эпохи: здесь перед ним очевидные акты, он увидит, на какой предмет было обращено особое внимание умов, к каким писателям была особенно благосклонна публика, потому что найдет счет томов по каждой отрасли, счет изданий каждой книги. Это — высшее значение библиографии; тут она является самостоятельной наукой» (40). Вообще эта статья безусловно является для своего времени высшим достижением того, что у нас именуют «библиографической мыслью». И, хотя автор видит «выводы» пока только на статистическом уровне,— все равно это уже здравый взгляд, четко различающий возможности «собственно» библиографии от таковых же нераздельной, казалось бы, с нею истории литературы. Естественно, что статью сразу заметили историки библиографии, начиная со Здобнова. И тут с нею произошла «интересная история» — ее автора причислили к представителям реакционной, формалистической библиографии. А причиной этого непостижимого явления послужила неудачная метафора: автор имел неосторожность написать: «как чичероне в могильном склепе указывает, какой где спит покойник, и говорит, что он оставил по смерти,— так библиограф знает историю всех книг и место их хранения» (41). Ну как же не формалист! Сравнивает библиографию (а в сущности — весь книжный мир) с кладбищем! Между тем сравнение библиографии с чичероне, с гидом было в то время обиходным (Н. И. Надеждин в «Телеоскопе», Л. П. Блюмер в «Книжном вестнике» и многие другие), и никто не придавал ему того значения, которое оно получило под пером будущих ученых. Для того чтобы понять, насколько это нелепо, надо просто прочитать статью «Русская библиография» целиком. Станет ясно, что ее автор стоит на самых передовых для своего времени позициях. Да и вся статья написана в защиту и прославление библиографии!

«Русская библиографическая наука развилась в нашем отечестве необыкновенно быстро и роскошно,— иронизировал Добролюбов в 1858 году.— Даже люди, убежденные в том, что Россия во всех науках достигла изумительного совершенства, должны согласиться, что ни одна наука не стоит у нас на такой степени развития, как библиография» (42). А между прочим, иронизировать тут было не над чем. Библиография в России, фактически зародившись в начале XIX века (отдельные опыты, относящиеся к предшествовавшему столетию, не в счет — они не создали традиции, кроме библиографии журнальной, которая была скорее ветвью критики), к добролюбовским временам сделала поразительные успехи. За кратчайший исторический срок были созданы все основные виды библиографии: национальный репертуар — «Опыт» Сопикова, «Обозрение...» А. К. Шторха и Ф. П. Аделунга, продемонстрировавшее европейский уровень библиографической культуры; несколько первоклассных книготорговых каталогов, пригодных для наведения всевозможного рода справок; официальная библиографическая регистрация (1837—1855). Были опыты издания специальных журналов (В. Г. Анастасевич, П. И. Кеппен) и, наконец, как итог всего этого, — «Литература русской библиографии» Геннади — первая в мире ретроспективная национальная библиография второй степени. Продолжались, вслед Новикову, попытки создания универсальной библиографии (Е. А. Болховитинов), усовершенствовалась и журнальная библиография, которая кроме рецензий публиковала и чисто библиографические труды. Мы уже так к этому привыкли, что не отдаем себе отчета в грандиозности этого «скачка». А ведь это только — «собственно» библиография, Добролюбов же имел в виду и «библиографические исследования». Если еще и их присовокупить, считаясь с самосознанием эпохи, то вообще получится картина, иронизировать по поводу которой не дело. Вызванный исторической необходимостью, но до поры до времени не распознанный большинством современников кризис единого литературно-библиографического комплекса, выделение из него текстологии и других вспомогательных наук, «уход» из библиографии ее журнальной «подруги» — рецензии (выражение Надеждина), названной Белинским «малой критикой», — все это еще очень слабо изучено нашей наукой. А причины этого ясны: долгое время там, где дело касается революционных демократов, — ника-

кое объективное изучение было невозможно. Здесь-то и кроется живучесть мифов, уже, казалось бы, давно опровергнутых фактами. Думаю, будет небезынтересно отметить, что историки текстологии на эту удочку не попались. Ведя свою родословную прямехонько от библиографии 50—60-х годов XIX веков, они, естественно, внимательно изучили это явление. Известный историк текстологии А. Л. Гришунин считает, что «в целом биографическое и библиографическое изучение литературного наследства, за исключением отдельных крайностей, в отношении которых возражения Чернышевского и Добролюбова вполне сохраняют силу, было весьма плодотворным. Библиографическое, „мелочное“, на первый взгляд, изучение фактов литературного прошлого обратило внимание на множество интереснейших историко-литературных явлений, оставшихся не осмысленными „эстетической“ критикой. Это позволило существенно уточнить представления об историко-литературном процессе, который складывался не только трудами выдающихся писателей, изучением которых преимущественно занималось прежде литературоведение, но также массой более мелких литературных явлений» (43). Наш читатель, приученный читать между строк, прекрасно понимал, что тут и полемика с революционными демократами, и критика Белинского, и полная «реабилитация» библиографизма. Это — 1962 год, когда, казалось, наступила оттепель, но еще не было возможности высказать всего, что накопилось. Остроумное наблюдение сделал известный еще в дореволюционное время историк литературы В. Н. Перетц. «Судьба историко-литературных исследований,— пишет он,— сложилась так, что истолкованием памятников, их исторической и эстетической критикой занимались первоначально литературные критики и теоретики, представители модных эстетических и общественно-политических теорий; на долю ученых оставалась подготовительная историческая и филологическая работа. Первые смотрели на вторых, как на книжных червей и педантов, занимающихся мелочами; вторые на первых — как на не заслуживающих серьезного внимания верхоглядов. Это отчуждение, явившееся результатом взаимного отрицания, возникшего на почве неясного представления о задачах истории литературы, повлекло за собою разделение сил и внимание работавших над одним и тем же материалом. В итоге блестящие гипотезы критики так и остались гипотеза-

ми, не подтвержденными научным объективным анализом, а детальный анализ ученых исследователей сам по себе не поднялся до плодотворных обобщений» (44). С последним утверждением можно, конечно, поспорить (ведь Перетц имеет в виду всю дореволюционную литературоведческую науку), но мысль автора о том, что «гипотезы критики» сильно этому мешали,— совершенно верна. Надо признать, что и сегодня литературовед зачастую более критик, чем ученый. И это объясняется не только давлением традиции, но и невозможностью изучать (тем более публиковать) целый ряд документов. Что до библиографии, то она только недавно с трудом вырвалась из объятий критики (вспомним дискуссию по поводу так называемой «критической библиографии»). Однако если трезвые умы уже в середине прошлого столетия пытались изъять из функции библиографии не свойственные ей обязанности, то это вовсе не означало, что сам библиограф не мог быть и литературоведом, и критиком. Он должен был уметь оценить лежащее перед ним произведение печатного станка (а в наше время и другие документы). Но у библиографии как общественного явления свои задачи, и незачем ей растворять их в задачах посторонних, решаемых другими отраслями знания. Если это было ясно даже такому «формалисту», как Минцлов, то неужели этого не понимал Добролюбов или тем более Чернышевский?

Эта статья — первая из цикла злоключений Клио. Есть еще немало сюжетов, которые требуют осмысления. Это — вопрос о начале русской библиографии (и тесно связанный с ним вопрос об ее общественной сущности); это — не до конца ясный вопрос о причинах возникновения и проблемах развития государственной библиографии; это — «роман» Ленина с Рубакиным; это — роли Крупской и Троповского и многое другое. Только вот кто это будет делать? Ведь в течение нескольких десятилетий у нас выкорчевывались кадры историков библиографии, и надежда теперь только на молодое поколение, но его что-то не очень слышно. «Интерес к истории пробудился,— писал Ю. М. Лотман,— а навыки исторического исследования порою утеряны, документы забыты, старые исторические концепции не удовлетворяют, а новых нет. И тут лукавую помощь предлагают привычные приемы: выдумываются утопии, создаются условные конструкции, но уже не будущего, а прошлого. Возрождается квази-историческая литература <...> замещает трудную и не-

понятную, не поддающуюся единому истолкованию реальность легко усваиваемыми мифами» (45). Это относится, увы, не только к истории литературы, но и к книговедческим дисциплинам, о чем свидетельствуют появляющиеся в неостребованном количестве монографии, посвященные «глобальным» проблемам библиографии, но для которых время еще не настало: уровень теории библиографии для обеспечения их полноценной содержательности еще не достигнут. Существует невыдуманная опасность впасть в ошибку тех, кто судил библиографию по законам других наук. Не делают ли подобной операции нынешние теоретики, прокручивая нехитрые «домашние» законы библиографии через псевдофилософскую мясорубку? Любопытный факт: за последние десятилетия было защищено множество докторских диссертаций, но не создано ни одного выдающегося или просто заметного указателя литературы.

Неужели это никого не тревожит?

Примечания

- ¹ См. об этом: Собиратели книг в России. М., 1988. С. 9.
- ² ОР РНБ. Ф. 178: Г. Н. Геннади, № 9: Дневник (1855—1869).
- ³ Отеч. зап. 1856. Т. 108, № 9/10. С. 79, 81—82.
- ⁴ Звезда. 1995. № 2. С. 90.
- ⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 15. С. 905.
- ⁶ Там же. 1949. Т. 14. С. 304.
- ⁷ Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и Список русских книг с 1725 по 1825 г. Берлин, 1876. Т. 1. С. 124.
- ⁸ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М., 1962. Т. 3. С. 461.
- ⁹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М., 1966. Т. 5. С. 160.
- ¹⁰ Современник. 1863. № 3. С. 71—72, 78. Статья называется очень выразительно — «Неуважение к науке».
- ¹¹ РО ИРЛИ. Ф. Лонгинова, 23157: Письмо Я. К. Грота к М. Н. Лонгинову от 1 марта 1859 г. Л. 1.
- ¹² Чуковский К. И. Миша // Некрасов Н. А. Неизданные произведения. СПб., 1918. С. 49—55.
- ¹³ Писарев Д. И. Соч. М., 1955. Т. 2. С. 56.
- ¹⁴ Библиогр. зап. 1858. № 2. Стб. 55—60.
- ¹⁵ Современник. 1858. Т. 71, № 9/10. С. 203—210.

- ¹⁶ Атеней. 1858. № 43. С. 504—511.
- ¹⁷ Уже в наше время опубликовано письмо Геннади к Полторацкому от 18 октября 1853 г., в котором он возлагает вину за этот пропуск на редакцию «Отечественных записок». Приведено Б. С. Боднарским в комментариях к 3-му изданию «Истории русской библиографии» Н. В. Здобнова (М., 1955. С. 587—588).
- ¹⁸ Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. 3-е изд. М., 1955. С. 302.
- ¹⁹ Там же. С. 300.
- ²⁰ Там же. С. 299.
- ²¹ Рейсер С. А. Хрестоматия по русской библиографии с XI века по 1917 г. М., 1956. С. 145—146. Раздел «Революционные демократы» и комментарий к нему принадлежат Ю. П. Антипиной.
- ²² Там же. С. 224.
- ²³ Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966. Гл. 8: Друзья «Полярной звезды». С. 149—162.
- ²⁴ Общая библиография: Учебник для библиотечных ин-тов / Под ред. А. Д. Эйхенгольца. М., 1957. С. 103.
- ²⁵ Сов. библиогр. 1954. Вып. 37. С. 25—26.
- ²⁶ Там же. С. 26.
- ²⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 2. С. 727—728; 1947. Т. 3. С. 272—273.
- ²⁸ Цит. по: Машкова М. В. П. П. Пекарский. М., 1957. С. 35—36. Эта статья Пекарского «О значении сатиры в русской литературе XVIII века» при его жизни не была опубликована.
- ²⁹ Б-ка для чтения. 1854. № 5. С. 13.
- ³⁰ Вольнский А. Л. Русские критики. СПб., 1896. С. 578.
- ³¹ См. об этом: Равич Л. М. Г. Н. Геннади. М., 1981. С. 97.
- ³² Беспалова Э. К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-х годов XIX в.). Дис. ... д-ра пед. наук. М., 1992. Л. 233.
- ³³ Герцен А. И. Былое и думы. М., 1987. Т. 2. С. 72.
- ³⁴ Здобнов Н. В. Избранное: Тр. по библиотековедению и библиогр. М., 1980. С. 176—177.
- ³⁵ Причисление этих хозяйственных описей к библиографии (так же, как и расписания церковных служб, что еще замечательнее) — давняя традиция, доставшаяся нам в наследство от славянофилов крайне правого толка (Ундольский и др.). Ей отдал дань и Здобнов.

С нею убедительно полемизировал К. Р. Симон, но вот уже в наше время ее пытается воскресить в своих статьях и монографиях Б. А. - Семеновкер.

³⁶ Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. М., 1970. С. 116.

³⁷ Академические школы в русском литературоведении. М., 1976. С. 401.

³⁸ Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. 2-е изд. М., 1904. С. XVI.

³⁹ Этот вопрос в свое время был поднят в недостаточно оцененной статье Д. Ю. Теплова «Развитие взглядов на предмет библиографии в работах отечественных библиографов» (Тр. / ЛГИК. 1968. Т. 19. С. 205—234).

⁴⁰ Атеней. 1858. № 43. С. 506.

⁴¹ Там же. С. 505.

⁴² Добролюбов Н. А. Указ. соч. Т. 3. С. 459.

⁴³ Основы текстологии. М., 1962. С. 32—33.

⁴⁴ Перетц В. Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пг., 1922. С. 91—92.

⁴⁵ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. СПб., 1994. С. 13.